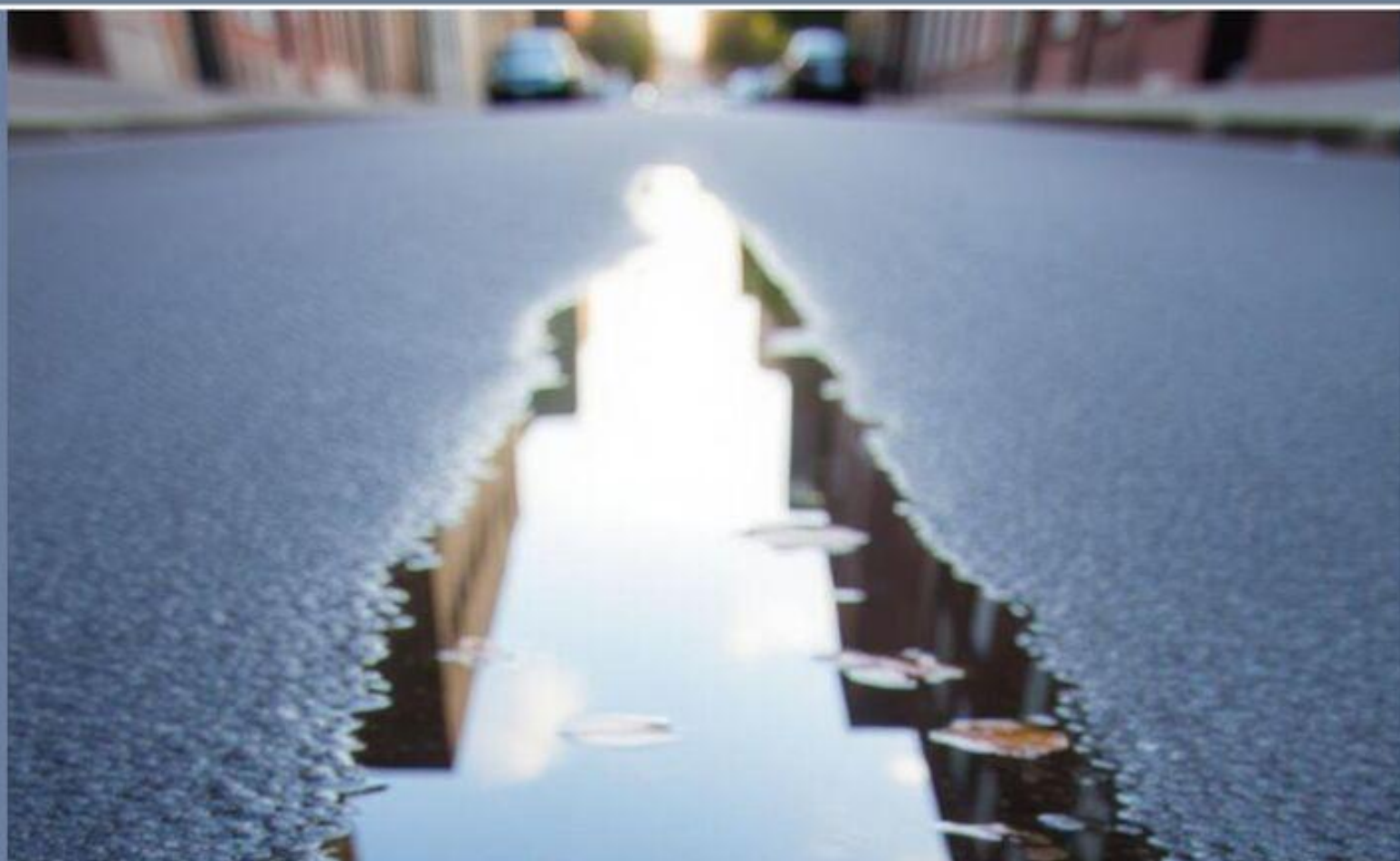


18+

Павел Родимов

*Не сильно
глубоко,
не слишком
грустно*



Павел Родимов

**Не сильно глубоко,
не слишком грустно**

«Издательские решения»

Родимов П.

Не сильно глубоко, не слишком грустно / П. Родимов —
«Издательские решения»,

«Не сильно глубоко, не слишком грустно» — это исповедь художника, потерявшего ориентиры в мире, где тишина гуще масла, а одиночество звучит громче музыки. Между сеансами у психотерапевта, чашками кофе и бесконечным дождём герой ищет путь к себе — и к той части души, которую когда-то закопал. Это книга о меланхолии, самоиронии и тихом сопротивлении повседневности. О том, как не утонуть — и всё же позволить себе нырнуть.

© Родимов П.

© Издательские решения

Содержание

0	6
1	8
2	14
3	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Не сильно глубоко, не слишком грустно

Павел Родимов

© Павел Родимов, 2026

ISBN 978-5-0070-9583-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Все совпадения с реальными людьми случайны, но закономерны

Я серьёзен, как шут.

Энди Уорхол

Знаешь, в чём секрет хорошего боя? Не в том, чтобы напрягаться, а в том, чтобы расслабиться. Надо быть... как вода. Лейся... или соберись в лужу и жди. Будь гибким, как тростник, гнующийся на ветру. Ты слышал такое? Пусть противник напрягается, пусть тратит силы. А ты... расслабься... и жди. Жди верного мгновения.

Спайк, аниме «Ковбой Бибоп»

Петь — значит быть.

Из «Сонетов к Орфею»

Райнера Марии Рильке

0

Это довольно странная книга. Не литературное произведение, а некий коллаж, сборище цитат, обрывки фраз, надёрганных из разных книжек, сериалов, аниме, виденных мною за всю жизнь. Есть тут и то, что случилось со мной. Многое шиворот-навыворот, сшито белыми нитками и неумелыми стежками. Ну, говорю как есть.

Однажды известный литературный критик и редактор высказался о книге «Хроники заводной птицы» как о «мусоре». Наверное, мусор — это символ нашей эпохи.

Как-то раз я узнал, что в океане существуют целые острова мусора. Думаю об этом, и мурашки по спине. А в целом, мусор не так уж и плох. Лично я с огромным трудом расстаюсь с вещами, а раз так, то мне сам Бог велел создать что-то похожее на ящик Джозефа Корнелла. Такой вот трэш-арт.

Вход. Кроличья нора глубока и не так проста, как кажется на первый взгляд. Нырнёшь туда — и рискуешь никогда не вернуться. Но помни: там, где вход, там и выход. Однако чтобы куда-то попасть, частенько нужно идти в противоположную сторону, если ты, конечно, не намерен лезть через забор или упереться лбом в дно. Как бы там ни было, куда бы ни завели нас хитроумные лабиринты разума, на мой взгляд, только поэзия остаётся ключом — тайным шифром, помогающим проходить сквозь стены. А живопись — это та же поэзия, только кистью. Похоже, по-другому из лабиринта не выбраться.

Самое лучшее приобретение, которое человек может сделать с годами, — это клоунский нос. Красный шарик на резинке. Я бы каждому рекомендовал, выходя из дома, иметь хотя бы один такой в кармане. А лучше два — для себя и для друга. Попробуйте, и вы сразу увидите, как поменяется ваша жизнь. Смеяться над собой полезно, так же как и плакать. А если получается и то и другое, то, мне кажется, это и есть любовь.

На Билла Мюррея я совсем не похож. И всё же считаю его своим духовным близнецом. Во всяком случае, с тем Биллом, который снялся в «Трудности перевода». Периодически я чувствую взгляд этого человека в своих глазах. Человека, который оглядывается вокруг и как бы говорит: «А что мы здесь делаем? А зачем? А почему так?» И какие бы ответы не получал, этот человек пытается не возражать: «А-а-а, вот, значит, как?» Такой взгляд отлично помогает: не сильно глубоко падать и не сильно грустить, а ещё вставать, отряхивать колени и улыбаться: «Не беспокойтесь, я цел! Всё в порядке. Не стоит за меня волноваться». Но, по правде говоря, этому я научился далеко не сразу.

Мамардашвили говорил: «Человек есть существо, живущее на наклонной плоскости. И он всё время скатывается. И он должен всё время совершать усилие, чтобы быть человеком. Быть — это усилие».

Высказывание, на мой взгляд, бесспорное. С мёртвыми вообще не поспоришь. Что же касается скатывания: большую часть времени я именно так себя и ощущаю. Заберусь вечером куда-то на верхотуру, а за ночь скатываюсь, и с утра нужно начинать сначала. Может быть, со мной что-то не так, но частенько меня посещает чувство сильной гравитации. Так и живу: чтобы удержаться на месте, делаю усилие, а чтобы подняться — два. Такие дела.

В любом случае, мне кажется, что быть человеком — это непрерывный труд. Прежде всего, работа по сохранению бдительности. Слишком много соблазнов, слишком привлекательно заиграться в грандиозность. Только не путайте с контролем. Это другое. Невозможно стать человеком, но можно продолжать пытаться им быть, преодолевая «тяготение» обыденности. Без этого мы рискуем превратиться в микроволновку, холодильник или мясорубку. Ничего не имею против них, но перспектива лично меня ужасает.

Рассказать историю по-настоящему хорошо, на мой взгляд, может лишь тот, кто выбрался. В противном случае есть риск так и остаться в тёмном лесу. Мне кажется, что я выбрался. Но вряд ли это можно утверждать наверняка.

Эта история длилась восемьдесят дней. Именно поэтому я хотел её назвать «Соло на одной струне, или С того света за восемьдесят дней». Но назвал как назвал. Не думайте, что я и правда считал дни. Время здесь условное и точно не календарное. Просто я так почувствовал: восемьдесят дней, восемьдесят часов... А на восемьдесят первый кое-что произошло.

И ещё. Так сказать, напоследок. Думаю, глупо скрывать, что как на писателя на меня сильно повлиял Харуки Мураками. Это ещё один мой духовный близнец. Похожи мы или нет, но я слышу его чуть ли не в каждой своей строчке. Хотя и мой голос тут, конечно, звучит. В Библии сказано: никто, сколько ни суетись, не может прибавить себе росту. Так что я танцую как танцую. Если у меня получается, я радуюсь, а если нет, то плачу. Больше не знаю, что про это сказать. Такие дела.

1

Тем летом меня беспрестанно мучило какое-то воспаление в носу. Кончик носа покраснел и распух. Когда я прикасался к нему, болел. Рука всё время норовила пощупать распухшее место, и от этого, кажется, становилось ещё хуже. Но я ничего не мог с собой поделать.

К этому добавлялась какая-то разновидность умственного бессилия: я никак не мог договорить мысль до конца. Слово рождалось, вытягивалось, разрасталось внутри, но на выходе обрывалось, оставляя после себя комок пустоты, который так и не превращался в смысл.

— Я помню... — сказал я, сжимая пальцы так, словно хотел удержать в ладони эти слова. Но они уже начали ускользать, разбегаться, как семейство мокриц и уховёрток из-под приподнятого камня.

— Мы как-то сидели вместе с сестрой и её мужем. Там же была моя жена... тогда ещё только невеста. И у них дома... после Рождества... или в сам праздник... мы сидели за большим столом. Люди говорили, смеялись, и был один человек, ухоженный, богатый, — он выглядел замечательно. И он сказал: сколько бы ни заботился о теле, сколько бы ни держал лицо в порядке — старость возьмёт своё.

Я чётко припоминаю, как тогда выглядел этот человек: чуть опущенные плечи, складки у рта, будто усталость глубоко залегла в них. Целый Большой каньон усталости.

— По тому, как он это сказал, было очевидно, что он устал и разочарован. И вот я сейчас чувствую то же самое. Я устал. Я разочарован. Организм сыпется. Жизнь сыпется. Как машина, которой слишком долго пользовались. Как дом, который бросили. Как песочный замок, который смывает волна.

Слова оборвались. Воздух, напитанный ими, потяжелел.

Психотерапевт поправила очки. Она смотрела будто не на меня, а между мной и словами, в пустоты, где слова отмирают, сбрасывают кожуру, оставляя обнажённый смысл.

— Сколько вам лет, Ник? — мягко спросила она, чуть наклоняя голову.

— Тридцать четыре...

Бывают ночи, когда тишина становится густой, как масло. Она не просто отсутствие звуков, она — нечто материальное. Я могу провести по ней рукой и ощутить её плотность, её упругое, беззвучное сопротивление. Именно в такие ночи я включаю старую лампу, сажусь в кресло у окна и слушаю, как в голове крутится одна и та же пластинка.

Это мысли об Орфее. Станный выбор для человека, который провёл день в офисе перед компьютером, рисуя персонажей игр и временами бесцельно глядя на дождь за окном. Но мысли приходят сами, без приглашения. Как кошки. Заходят, когда хотят, и уходят, когда им надоедает.

Орфею явно было проще, чем мне: он знал, где Аид, знал, где Эвридика, знал, кого и как подмаслить (очаровать), чтобы вернуть её. Он даже трёхглавого пса не боялся. А мне как жить?

У него была карта. Пусть и ведущая в преисподнюю, но карта. Поверни налево после реки Стикс, мимо полей скорби, не вздумай есть гранат у владыки подземного мира. Чёткий маршрут. Пункт А, пункт Б, цель — Эвридика. Всё просто, как детская считалочка. У него даже был талант — лира. Музыка, перед которой расступались камни и смягчались сердца стражей. Инструмент.

А что у меня? У меня есть телефон, ноутбук, планшет, раскраска для взрослых, личный психотерапевт, несколько пар смешных носков, которые вечно теряются под диваном, и смутное, но настойчивое ощущение, что я где-то свернул не туда. Моя Эвридика не ждёт меня в

каком-то конкретном Аиде. Она ждёт меня в двухкомнатной квартире. А может, в соседнем городе, заказывает кофе с собой и смотрит на тот же дождь. А может, её и вовсе не существует. Может, она просто идея, призрак, рождённый одиночеством и музыкой из соседней квартиры.

И какого Цербера мне нужно усмирить? Начальника Серёгу Кривотнюка? Банк, выдавший ипотеку? Или того трёхглавого пса, что лает внутри, — страх, сомнение и эта вечная гулкая пустота?

Иногда мне кажется, что весь современный мир это и есть Аид. Только более благоустроенный, с Wi-Fi и круглосуточными магазинами. Но мы всё так же блуждаем по его коридорам, не зная, куда идти. И у нас нет лиры, чтобы растопить лёд в метро или заставить замолчать трёхглавого пса в собственной груди.

Я гашу лампу. За окном всё так же идёт дождь. Тишина снова сгущается, и я понимаю, что моя задача сложнее. Орфей шёл за своей любовью. Мне же сначала предстоит найти дверь. Любую дверь. И надеяться, что за ней не окажется просто ещё одна комната, точно такая же, как эта.

Город был серый. Август — уже не лето и ещё не осень, — расплзающийся вуалью дождя. Капли тянулись по стеклу, листья липли к асфальту, врастали в него, как диковинная мозаика. Между серых мокрых пятиэтажек я петлял по пути к водохранилищу. Рядом трусил пёс. Мы шли на набережную, чтобы сесть на мокрый бетонный бортик, бросать камни, смотреть, как они медленно опускаются в толщу воды, едва рождая круги. В тот день даже вода выглядела уставшей.

Грэй — пожилой золотистый ретривер — бегал рядом, слепой на один глаз, только я никак не мог запомнить, на какой. Казалось, катаракта странствовала, сегодня — на левом, завтра — на правом. Селеста всегда меня поправляла, напоминала, раздражалась, но я всё равно забывал. Мне нравилось звать её Селестой, хотя имя у неё было другое. Она злилась. Но я был упрям, как мужчина, который знает, что и как должно называться, или как мальчишка, который что-то придумал и теперь требует, чтобы его выдумку, его игру поддержали.

Тем летом она была какая-то особенно красивая и особенно хрупкая, как из стекла. И находилась на невероятном удалении от меня. Получался кадр из странного кино: я ей что-то говорю, а она не слышит — вечно отодвинутая, застывшая внутри себя.

Палка упала к моим ногам. Пёс пыхтел и смотрел исподлюбя. Я не поднял. Смотрел на воду. Вспоминал глаза терапевта. Её мягкий и тёплый голос. Как будто в пазухах между её словами можно было укрыться и выздороветь. Или хотя бы отдохнуть. В них чувствовалось что-то животворное. Из них появились строки. Как ростки живой травы на наветренном горном склоне. Вначале возник образ, а потом слова. Стихи. Но без рифмы. Зато с ритмом, живые, с дыханием. Что-то, что можно произнести, и в этом прозвучит душа. Мне захотелось рассказать стихи ей. Я ярко представил, как прочитаю эти стихи на следующей встрече, но тут же испугался. Может быть, потому, что они могли разрушить крепкую, но довольно хрупкую стену, которую я вокруг себя выстроил.

Он сидел напротив меня — опустошённый, сломленный; нет — раздавленный. Лира стояла рядом, как нечто чужеродное, неуместное, как протез, муляж из кабинета анатомии. В глазах его читалась такая бездна боли, что у меня сжалось и заныло в горле.

— Ты действительно думаешь, что мне было проще? — спросил он, вглядываясь в меня покрасневшими глазами. С полминуты он изучал моё лицо. Потом вздохнул. Поднялся и двинулся к выходу. Взявшись за дверную ручку, лишь слегка повернул голову в мою сторону:

— Не повторяй моих ошибок: не оборачивайся...

Телефон.

— Что, опять отлыниваешь? — это была Ленка.

Голос, как всегда, с усмешкой.

— С чего ты взяла? Я работаю.

— Ой, брось. Работает он... Айда кофе пить.

Кафетерий пах жареным маслом, стены и потолок дышали запахом сотен триллионов приготовленных здесь пирожков и пирожных. Наверное, и миллионы лет спустя они будут так пахнуть. Кофе здесь был правильный, сильный, горячий. Официантка принесла две большие чашки и пару пирожных. Поставила на стол, не глядя на сидящих. На шее у неё виднелся засос — яркий, свежий. Я тут же поймал себя на том, что сразу представил её в постели. У неё было простое, но правильное лицо. Фигура — молодая, крепкая. Представить её в чьих-то объятиях оказалось слишком легко. Шея, прижатая к чужим губам, лёгкий укус. Вампиры, кровь, аниме, «Ковбой Бибоп». Я поднёс чашку к губам, сделал глоток — первый, лучший, за который стоило бы платить втридорога. Остальные — только имитация. Как поцелуи после первого.

Ленка сидела напротив. Ложкой собирала пенку. Она была классической подружкой холостяка. Всегда рядом, всегда под рукой, всегда никуда не ведущая. Когда-то, ещё в прошлой жизни, мы были одноклассниками. Потом один раз переспали. Я никак не мог вспомнить, как это было. Помню только утро в её квартире — однушке на окраине, доставшейся ей от бабки. Там пахло кошками и дешёвой косметикой.

— Никто не обязан рожать детей... — решительно заявил я, разглядывая узор пенки в своей чашке.

— Вот это правильно, вот это я уважаю! — одобрительно кивнула Ленка. Она была яркой феминисткой, но я-то говорил о другом.

— Нет, ну серьёзно: живём так, как будто во что бы то ни стало обязаны продолжить свой род. Но ведь есть вещи не менее важные! И есть другие способы попасть в бессмертие.

Подруга искренне заинтересовалась.

— Например?

— Ну, например, помидоры выращивать.

Мы вяло гоготнули.

— Чего, опять затянул со сроками? — спросила она.

Пенка на губах. Слизнула.

Я был художником. Рисовал персонажей для игр и комиксов. Работал неплохо. Даже талантливо. Но со мной было трудно. Я тянул, срывал сроки, закрывался в себе.

— Ага, — честно, как на допросе, признался я и стал разглядывать подругу.

Ленка всегда пряталась за мешковатой одеждой. Растянутые футболки. Широкие джинсы. Куртки, в которые влезли бы две таких, как она. Я догадывался, что под этим тряпьем скрывается красивое тело, но давно уже перестал думать в эту сторону. Мне нравилась Ленка-друг. Ленка-женщина оставалась где-то за занавесом. И трогать занавес я не собирался.

— Скоро всех нас заменит искусственный интеллект, — сказал я и снова уставился в чашку.

— Да не, я в это не верю! — легко отмахнулась Ленка. — Невозможно живого человека заменить.

Странно, но мне как раз именно в это и не верилось.

— Мне кажется, меня можно... — проронил я.

— И чем займёшься?

Я вздохнул, откидываясь назад и закатывая глаза к потолку.

— Ну-у-у... Уеду на тёплые острова. Хорошо поем. Напьюсь. А когда деньги кончатся, выйду на пляж и на рассвете застрелюсь.

— Красиво. Хоботов, ты романтик.

Я усмехнулся. Мы оба с юности любили этот старый фильм. Тогда жизнь скорее казалась приятной и лёгкой игрой. Сейчас эту лёгкость трудно было не спутать с пошлостью и бессилием.

— Или пойду работать в шиномонтажку — всегда мечтал делать что-то конкретное и понятное: снял колесо, заклеил дыру, поставил колесо обратно, закрутил болты — вот это жизнь: никаких тебе терзаний духа! Знай себе: поплёвывай на ладони да гайки крути.

— Хо-хо! — возмущённо возрилась на меня Ленка.

— Да ты за всю свою жизнь хоть раз колесо менял?

— Не менял, — понуро согласился я с ней. — Романтик, говоришь... Скорее лентяй.

— Вот именно, — оживилась Ленка. — Лентяй и нытик. Ты мог бы давно уехать в Москву, в Питер. Там художники нужны. А ты сидишь тут и гниёшь.

Я поднял на неё глаза. Чувствовал, что взгляд у меня как у главного героя из старого вестерна — ленивый, безразличный. Но где-то в глубине меня разгорался озорной огонёк.

— А ты? Ты же тоже тут сидишь?

— Я-то что? — пожала плечами она. — У меня нет твоих талантов. Мне ничего не светит, кроме работы в конторе и таких вот кафешек. Я реалист.

— Реалистка... — протянул я и снова сделал глоток: вкус стал тусклым, горьким. — Знаешь, я не хочу жить там, где все суетятся. Там слишком громко. Здесь хотя бы тихо.

— Тихо? — усмехнулась Ленка. — Это не тишина. Это болото. Ты путаешь.

— Болото... — Я потёр лоб. — Ну и пусть болото. Болото — колыбель эволюции. Зато здесь много места.

— А на что оно тебе? — резко сказала Ленка.

Я замолчал. Смотрел на пирожное, которое не тронул. Капля сиропа стекала по боковой поверхности и застывала.

— Знаешь, — сказал я, наконец, тихо, почти равнодушно, — может, это и к лучшему.

Ленка помолчала. Потом отодвинула чашку и наклонилась ко мне.

— Ты иногда говоришь так, будто собираешься исчезнуть. Это пугает, Коля.

Я криво улыбнулся. Вздохнул. Может, я уже?

— Я же говорю — приду пьяный на пляж, встречу рассвет и застрелюсь.

— Дурак, — сказала она устало.

Мы обменивались фразами, я — ленивый, она — насмешливая и порой сердитая. За окном дождь чертил по стеклу кривые прозрачные линии, листья лежали плоско, прохожие бежали, поднимая воротники и пригнув головы. Возле входа, спрятав морду под лапами, спал Грэй. Я привязал его за поводок к урне, но псу это не мешало.

Вспомнился больничный коридор: запах хлорки, скамейка. Селеста уходит быстрым шагом от кабинета гинеколога, не выдержав моей растерянности и молчания. Она бежала так, как будто за ней кто-то гнался. А я тогда почему-то решил, что она уходит к любовнику. «Ну и иди к нему!» — крикнул я ей вслед. Как там Ленка говорит: «Дурак!» Потом вспомнилось время до всего этого — торговый центр, детские кроватки, коляски, смех Селесты. Воспоминания выглядели как картинки: чужие, беззвучные фотографии, которые кто-то подсовывает мне в руки.

Я сжал пальцы, почувствовал собственные ногти и тут же захотел их подстричь, чтобы убрать малозаметную помеху и вернуть ощущение ладной, удобной жизни.

— Безнадёга... — пробормотал я.

— Господи, Хоботов, да это же просто замершая беременность! — устало и раздражённо сказала Ленка.

Слово «просто» не вязалось с тем, что я чувствовал.

Тиканье часов в кабинете нарезало тишину на мягкие ровные кубики. Сухие травы и полевые цветы в овальной прозрачной вазе. Красивый узор на диванной накидке.

— Вы говорите с женой об этом? — спросила психотерапевт.

Я помолчал. В голове промелькнул образ Селесты: отстранённый взгляд, каменное лицо.

— После прошлой встречи я написал стихи. Без рифмы. Можно прочитать?

Она прикусила ручку. На коленях планшет с прижатым чистым листом. Конечно, она заметила, что я не ответил на вопрос.

Я прочитал:

— Мы беспомощны. Мы беззащитны. Мы беззаботны. Мы падаем в бездну, взявшись за руки и с любовью глядя друг другу в глаза. Ты ходишь по пляжу, разглядывая вымытые морем кости-коряги, и представляешь подсвечники из них. Я вглядываюсь в своё тело и слышу в нём только отзвуки рака. Мне бы поспать, а тебе хочется танцевать.

Психотерапевт вздохнула и мягко прикоснулась к моей руке.

— Очень красиво, — сказала она. — У вас чуткая душа.

Мне стало жутко неловко и захотелось смеяться.

Маршрутка тряслась, резко наклонялась и подпрыгивала на ямах. Шансон хрипел и рычал в динамиках, водитель говорил с кем-то в наушнике, смех и обрывки слов на неизвестном языке, от которого веяло солнцем, фруктами и яркими одеждами. Мне показалось, что и шансон, и музыка, и голос в наушнике были необходимым условием для жизни шофёра в пасмурной дождливой действительности этого города. Достаточно чему-то одному исчезнуть, и водитель растает, как злая колдунья Бастинда, не выдержав высокой концентрации отчаяния в окружающем воздухе. Оказывается, меланхолия — это некая разновидность радиации. Некий городской вредный фактор, без которого современный город трудно представить. Держа в ладони телефон, я листал маркетплейс. Мне была нужна шапка. Осенняя. Мне нужна была защита от меланхолии: спецодежда для города. Экран скользил под пальцем, но картинки были одинаковые: шапки вязаные, шапки с отворотами, тёмные, серые, одна — синяя, но недостаточно яркая и нелепая. Всё не то. Я задержал палец, но не заказал, только смотрел, представлял себя в ней. Лоб закрыт, уши закрыты. Невидимость. Вечером пойти по улице и не чувствовать взглядов, будто их нет, будто я растворился вместе с мокрой листвой. Точно! Шапка-невидимка — вот что мне нужно. «Шапка-невидимка — выбор этого сезона» — прочитал я на билборде за окном.

Рядом сидела женщина с пакетами. Пакеты набиты овощами. Капуста, морковь, кабачки. Запах сырой земли. Я вспомнил мать. Дачу. Её руки, когда она чистит картошку. Вены на руках как верёвки. Ей уже за восемьдесят пять, и она всё ещё пытается держать нож. Держаться за жизнь. Откуда у неё столько сил?

Мать плохо слышала. Она постоянно переспрашивала, а я раздражался. Мне было стыдно за эту злость, но она никуда не уходила. И мать переспрашивала в третий раз, и я говорил гадости. Она кивала. Так мы и разговаривали: два человека, каждый в своём мире.

Маршрутка остановилась. Сырой воздух ударил в открывшуюся дверь. Я подумал: а если уехать? Не на острова, не застрелиться на рассвете, а просто в другой город. Начать там. Но уже видел, как эта мысль тускнеет, как всё тускнеет, если дотронуться слишком смело.

Вечером снова пошёл дождь. Мелкий, как пыль. Асфальт блестел. Прилипшие к нему листья пахли осенней падалью. А в подъезде пахло кошками и мокрой тряпкой. Лифт застрял между этажами, пришлось идти пешком. На втором этаже кто-то слушал телевизор так громко, что стены дрожали.

Селеста сидела в комнате у окна. В белом свитере. На коленях — книга, но она не читала. Глаза были пустыми, как окна в заброшенном доме. Я остановился в дверях. Хотел что-то сказать. «Купить тебе что-нибудь?», «Ты ела?» или «Я хочу купить шапку-невидимку». Но слова застряли. Я только кашлянул, и она обернулась медленно, как будто моё появление было случайностью.

Грэй поднял голову, заскулил, снова положил морду на лапы.

— Ты поздно, — сказала она.

Голос тихий, ровный. Без интонаций.

Я кивнул. Снял куртку. Бросил её на бортик кровати. Я чувствовал, как внутри что-то давит, распирает, но не выходит наружу. Подошёл, коснулся её плеча. Она вздрогнула. Не от прикосновения — от самого факта, что я рядом. Я убрал руку.

Селеста закрыла книгу, положила на подоконник. «Фиеста», прочитал я на обложке.

— Я думаю... — начала она.

Помолчала. Наверное, хотела сказать: «Нам надо покончить жизнь самоубийством», «Нам нужно пожить порознь» или «Ужин в духовке». Но вместо этого сказала:

— Давай съездим на озеро?

Я сел рядом. Помолчал, разглядывая её. Глаза красные, но слёз не было. Она не смотрела на меня, а я смотрел ей в висок, как дуло пистолета.

— Да, это отличная идея. Давай!

Встал, пошёл на кухню. Вода капала из крана. Гудение холодильника. В раковине лежала тарелка, на ней остатки макарон.

Я налил себе стакан воды, но пить не стал. Стоял и смотрел, как свет от лампы отражается в оконном стекле, а на другой стороне висит непроглядный мрак ночи.

Вспомнил тёплый свет множества ламп в магазине детских товаров, яркие цвета, игрушки. Она смеялась, примеряла пинетки на руку, как кукольник. Тогда всё казалось настоящим. Настоящее всегда длится очень мало.

Я вернулся в комнату. Она уже спала или притворялась спящей, свернувшись под пледом. Как будто старалась стать меньше. Грэй рядом. Дом маленький, но все друг от друга невероятно далеко.

Я лёг на диван в другой комнате. Долго слушал, как капает кран. Как гудит холодильник. В голове крутилось: «Мы беспомощны. Мы беззащитны». Хотелось больше рифмы, но строчки рвались, как мокрая бумага, и не хотели срастаться в красивое единое целое. В квартире сверху Гэри Джулс старательно выводил свою Mad World, а Майкл Эндрюс след в след за его голосом играл на фортепиано.

Я закрыл глаза. И увидел снова водохранилище. Камни, круги по воде, пёс, бредущий по кромке воды. И где-то далеко — голос психотерапевта: «Сколько вам лет, Ник?»

Тридцать четыре.

И это казалось уже слишком много.

2

С утра я вспоминал о том, что не сделал вчера, или о том, что сделал не так. Утро нужно было проглотить, как противное лекарство. Как ведро помоев, которое некто выливал мне в лицо решительным движением со словами: «Ты всё просрал! Всё сделал не так! А впереди тебя ждёт целая неподъёмная куча дел! Это и есть твоя жизнь! Но ты с ней не справляешься».

С трудом открывались глаза. С трудом удавалось оторвать себя от дивана, встать и пойти в ванну. Всё с огромным трудом, как в атаку.

Я стоял перед зеркалом. Щетина, тусклый взгляд. Умыться не хотелось. Но всё же включил воду. Она была холодная. Нужно было ждать, пока пойдёт тёплая.

Распахнув шторы, я увидел серое лохматое небо, похожее на брюхо пса, искупавшегося в луже. Дождь лил ровным спокойным потоком — не больше и не меньше, в кем-то точно выверенной пропорции, выставленной на небесном регуляторе. Капли барабанили по подоконнику. Вода потоком струилась из водосточных труб, ручьями текла у края тротуара.

На асфальте возле автобусной остановки лежал раздавленный голубь — то ли самоубийство, то ли беспечность. Ожидая свою маршрутку, я разглядывал распротёртые крылья и думал о том, что в век высоких скоростей немудрено оказаться сбитым и раздавленным. Мне же хотелось быть медленным.

Нейросети, войны, соцсети — по сравнению с ними моя жизнь утлая лодчонка, шмыгающая между огромными бортами океанских лайнеров. Темп и скорость времени не удавалось ухватить, пережевать и переварить. Тошнило.

Хотелось в девятнадцатый век — спрятаться в тёплой избе при свечке и писать гусиным пером. Но вместо этого я шёл в здание из стекла, бетона и металла, где располагался офис моего работодателя.

Входная дверь противно скрипела. В проходе стоял турникет с всегда включённой зелёной стрелкой. Направо — будка охранника, где тот, поедая бутерброд, слушал бубнёж телевизора. Там рассказывали то ли про НЛО, то ли про привидений, то ли про лохнесское чудовище. В этом тёмном закутке время остановилось где-то в конце девяностых, начале нулевых.

Коллеги в офисе появлялись редко. Улучив возможность работать из дома, они больше не хотели возвращаться в прохладный серый кабинет. А я, пользуясь тем, что руководству зачем-то нужно было помещение, каждое утро исправно являлся и отпирал дверь в комнату с множеством столов и бездействующих компьютеров.

— Как давно вы заметили, что что-то не так? — в голосе психотерапевта мне слышалась заинтересованность.

Я разглядывал часы-картину на стене. Там желтели пшеничные поля, по краю зеленели леса, белели домишки. В центре махала лопастями-стрелками мельница.

— Красивая картина... В смысле, часы, — сказал я, не отводя взгляда.

Не отвечать на её вопросы становилось моей привычной игрой в этом кабинете.

— А что вам в ней нравится? — спросила психотерапевт, проследив за моим взглядом.

— На самом деле она меня ужасает. Это, знаете, как с фильмами ужасов. В хорошем хорроре нужно как следует спрятать монстра в обыденности. Вот на этой картине монстр очень хорошо спрятан.

— И кто же он? — Она прикусила кончик ручки.

— Время. Время перемалывает всех нас жерновами, и если присмотреться, то увидите, что за этой мельницей струится кровавая река.

Её передёрнуло.

— Звучит жутко, — сказала она и улыбнулась.

Серый город за окном растекался, как макияж на лице плачущей женщины. С высоты седьмого этажа открывалась отличная панорама: грязное ватное небо, раскинувшееся над скопищем мокрых бетонных кубиков.

Я вздрогнул, когда за спиной открылась дверь.

Это был арт-директор Серёжа Кривотнюк. Вода блестела на его куртке.

— Великий потоп, — сказал он сердито, кивая в сторону улицы. — Нам скоро понадобится Ноев ковчег.

Я промолчал. Я злился. Перспектива провести спокойный рабочий день в одиночестве была под угрозой.

Похоже, сегодня Серёжа решил лично проконтролировать мой рабочий процесс. Это означало, что я не просто затянул сроки, а слишком затянул.

Вздыхнув, я открыл рабочий файл. К двенадцати работа была закончена.

— Можешь же, когда захочешь, — удовлетворённо похвалил Серёжа и поспешно добавил, обращаясь в мою уходящую спину. — Тебе Гриша писал?

— О чём? — обернулся я.

— Значит, нет, — задумчиво бросил Серёжа, и продолжения не последовало.

Обедать я любил в китайском ресторанчике за углом. Место никак не называлось. Точнее, над входом висела огромная красная вывеска с иероглифами, но мало кто из нас знал перевод. Плехнувшись на потёртый кожаный диванчик, я тут же заказал свой любимый удон.

Хозяин заведения подметал пол.

Я смотрел, как щётка идёт по плитке, собирает пыль и обрывки лапши, и думал: «Сколько движений в день он делает? Сколько раз проведёт по полу, прежде чем его время выйдет?»

Китаец был седой, но не старый. Имя его никто не мог выговорить. Все называли его Лёша.

Он взглянул на меня и зацокал языком.

— Нелься так, — сказал он. — Как же жить без тени? Никака нилься.

Он качал головой, как будто это всё объясняло.

Я не понял, к чему это. Но слова застряли. «Жить без тени» — звучало так, будто у меня действительно отняли что-то важное.

Коренастая официантка принесла лапшу. С морепродуктами — мою любимую. Ноги у официантки были кривые, глаза равнодушные. Она поставила тарелку и ушла, будто я был пустым местом. Я налил себе зелёного чая из белого заварника. С лапшой я пил только зелёный чай. Мне казалось, это помогает пищеварению. Почему — объяснить бы не смог: наверное, прочитал в каком-то журнале, пока ждал приём у зубного или парикмахера.

В динамиках под потолком заиграла «Hello» группы Evanescence. Голос Эми Ли плыл сквозь шум кухни. Странно было представить, что Лёша слушает такое. На вид ему под шестьдесят, седой как соль, и всё равно где-то в нём звучит это «Hello».

Минут за десять я одолел полпорции лапши. Когда в ресторане появился мой коллега Гришка Сухопяткин, я делал небольшой перерыв, чтобы растянуть удовольствие. Я праздновал свою победу над арт-директором и предвкушал, как сейчас вернусь в пустой офис, где с лихвой смогу насладиться тоннами одиночества.

Гришка вошёл, как всегда помятый, в яркой футболке, на которой кричало что-то кислотными буквами. Вид человека, который только что совершил побег из... Да чёрт его знает, откуда он сбежал. Джинсы в дырах, куртка бесформенная, кроссовки провернули в мясорубке и лицо такое, будто он ночевал в автобусе. У него трое детей, жена Алка. Типичный семьянин. Даже внешностью похож на Николаса Кейджа — такая же физиономия: вот-вот расплывается. Я не знал, как он всё это выдерживает.

— Посмотри, — сказал он и плюхнулся рядом. — Что скажешь?

Протянул планшет. На экране эскиз.

В старательности он меня явно опережал, а вот в таланте нет. Но упорство гораздо более верный инструмент, чем гениальность, — я давно это понял.

Вытянутыми в трубочку губами я втянул в себя лапшу и глотнул чай. Скосил глаза на экран.

— С тенями что-то не так, — бросил я.

— Что не так? — Он нахмурился.

— Не знаю, — ответил я. — Но что-то не так. Покрути-поверти, может, поможет.

Он стал всматриваться, явно собираясь сопротивляться, но уверенность его уже пошатнулась.

— Да всё нормально там, — пробормотал он.

Я покачал головой.

— Может, и нормально. А может, нет. Лёша говорит: без тени нельзя. Ты сам когда-нибудь представлял мир без тени?

Гришка замер. Я видел, как он пытается понять: шучу я или говорю серьёзно.

Я изобразил серьёзное лицо, хотя, в целом, слабо понимал, что несу. Скорее эпатаж, чем откровение.

— Страшный плоский мир, — пробуя на вкус на эти слова и прислушиваясь к себе, сказал я.

— Да ну тебя! — ответил он. — Лучше за своими тенями следи.

Я свистнул.

— Ты прав. Но за своими я не уследил. Кстати, помнишь, у кого было про нос?

— Про нос? — Он удивился.

— Ну, который пропал.

— У Чехова вроде, — сказал Гришка озадаченно.

— Или у Гоголя?

— Может, и у Гоголя... Чего ты пристал?

Я пожал плечами.

— Представь: человек без носа. Теперь представь: человек без тени. Как он будет жить?

— Да нормально он будет жить! — проворчал Гришка. — Точно лучше, чем ты.

— А мне кажется, он будет жить именно как я — очень плоско... — пробормотал я задумчиво.

Он позвал официантку. Заказал удон со свининой, с собой навынос, в контейнере. Пересел от меня на диван напротив. Сопя и вздыхая, начал делать что-то на планшете. Явно обиделся, но вида подавать не хотел.

— Некогда мне, — сказал Сухопяткин, когда его заказ принесли. — Работать надо. Тени твои переделывать.

Он поднялся и с раздражённым лицом пошёл к выходу. По пути обернулся.

— Слушай, Коля... Приезжай на мой день рождения. У Алкиных родителей в Прудном. Дом у них большой. Мы там будем справлять.

— Хорошо, — сказал я.

Сам себе удивился. В горле у меня пересохло. Я слышал, что у Алки очень богатые родители и что в Прудном у них роскошный дом. Но сам я там никогда не был.

— И свою бери, — добавил он.

— Тень? — спросил я.

Гришка выругался, махнул рукой и вышел.

В кабинете было тихо. У часов села батарейка, и они молчали, показывая стрелками жест капитуляции. Я сидел на диване. Голова опущена, пальцы сцеплены в замок.

Тишина тянулась, как вязкая патока. В ней можно было утонуть. Думаю, именно в такой тишине тонул «Титаник». Если верить Мамардашвили, он тонет прямо сейчас.

Сквозь окно падал солнечный свет, в лучах кружились пылинки.

— Ник, вы опять не ответили на мой вопрос... — мягко заметила психотерапевт.

— Вы когда-нибудь жили без тени? — спросил я.

Терапевт смотрела на меня.

— Расскажите, — сказала она. — Что это значит для вас?

Я хотел ответить. Но слова ушли внутрь, как рыбы в мутную глубину.

— Всё плоское, блёклое, безвкусное. Это как оказаться в фильме Ларса фон Триера: холодно, пусто, до ужаса странно... В серо-голубом фильтре.

Но объяснить решительно не получалось. Я водил руками в мутной воде, пытаюсь поймать хоть одну крупную рыбку смысла, но чувствовал лишь их хвосты, ловко уворачивающиеся от меня.

— От этого одно только спасение... — Я внимательно посмотрел на неё.

— Какое? — подыграла она мне: могла ведь и не спрашивать.

— Стихи: как только нахожу нужное настроение, образ и слова — тень возвращается.

— Прочитаете? — вроде и предложила, а вроде и бросила вызов.

— Мы на карусели. В великом круговороте; Всё возвращается вечно, всё повторяется снова; Мы крутимся с тобой и смеёмся; Мы крутимся и плачем; Вертимся и кричим; Мы тоже возвращаемся вечно.

Минуту она ошарашенно вглядывалась в меня.

— Вы сами это придумали?

— Нет... Это Ницше.

Ночь. Телефон отложен на журнальный столик и молчит. Я не смотрю бесконечную ленту видео и фотографий. Пёс, свернувшись калачиком, занял полдивана и сопит во сне. Мне нужна тишина. И как обязательное условие — одиночество. Именно в нём тишина обретает своё материальное воплощение, становится густой, как бульон из морской капусты. И вот в самой гуще этой тишины, где-то за гранью слуха, но точно внутри черепной коробки, раздаётся звон.

Не громкий, нет. Скорее, это похоже на звук крошечного колокольчика, того самого, что используют в синтоистских храмах. Син-син-син. Чистый, холодный, одинокий звук. Он не в ушах, он где-то за ними, в темноте, что простирается между воспоминанием и забвением.

Я знаю, что это звонит Она. Не спросив моего согласия, разумеется. Звонит та часть меня, что была закопана. В четырнадцать, восемнадцать или, может, в двадцать два года — точную дату установить уже невозможно — я взял лопату, выкопал яму ровно в метр глубиной и бросил туда что-то очень важное. Тщательно закопал, утрамбовал землю ногами, сверху для конспирации поставил цветочный горшок с увядшей геранью. И ушёл, стараясь не огля-

дываться. Обстоятельства тогда требовали именно такого решения. Мир говорил: «Стань уже, наконец, взрослым. Перестань витать в облаках. Брось эту ерунду». И я послушался. Это было похоже на ампутацию — болезненно, но якобы необходимо для выживания.

Теперь же Она звонит. Оттуда.

Это не ностальгия. Ностальгия — это тёплое, размытое чувство, как старый свитер. Этот звон — острый и безжалостный. Он не приносит с собой образов или конкретных воспоминаний. Только ощущение утраты. Чистой, дистиллированной утраты. Как будто ты забыл слово, которое вертится на языке, и от этого вся вселенная слегка сдвинута по оси.

Я пытался Её найти, конечно. Пытался откликнуться на этот зов. Но это напоминает мне сказку: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Как искать то, чему нет имени? Как выкопать то, форму чего ты забыл?

Я рою внутри себя наугад. Иногда мне кажется, что вот оно — в этой внезапной грусти от звука дождя, в этом странном желании свернуть с привычной дороги на работу и уехать на электричке невесть куда, в этом неуместном смехе посреди серьёзного разговора. Я хватаюсь за эти обрывки, но они тают, как дым. Это не Оно. Это лишь его тени, отбрасываемые на стену пещеры.

Иногда звонок застаёт меня в баре, за третьим бокалом пива. Я замираю, и бармен спрашивает: «С вами всё в порядке?» Я киваю и делаю глоток. «Просто показалось», — говорю я. Но это не «просто». Это Она. Она звонит, чтобы напомнить: я здесь, я всё ещё здесь, в темноте, под слоем утрамбованной земли и лет. И я тебе нужна. А ты мне нужен?

И я сижу, этот одинокий мужчина за тридцать, и чувствую себя полным идиотом. У меня есть квартира, работа, пара приличных костюмов и даже старая коллекция виниловых пластинок. Но у меня нет карты, чтобы найти ту самую яму. Нет ключа, чтобы открыть дверь, которой не существует.

И тогда я понимаю, что, возможно, я копаю не в том месте. Что искать нужно не в прошлом, а в настоящем. Не содержание того, что было закопано, а его пустоту. Его идеальную, звонящую форму. И колокольчик звонит не для того, чтобы его нашли, а чтобы я наконец признал: да, там пусто. Да, чего-то важного не хватает. И эта пустота, это «не знаю что» и есть самый главный ориентир.

Я закрываю глаза и слушаю. Син-син-син. Звон становится тише, но чётче. Он не зовёт меня назад. Он зовёт меня вперёд. Туда, где карты ещё не нарисованы.

Я вышел на улицу. Холодало. Асфальт блестел. Возле остановки стоял автобус. Я забрался в него по блестящим от воды ступенькам. Пахло мокрыми куртками.

Женщина с пакетами сидела рядом. Капуста, морковь, кабачки. Запах земли. Я подумал о матери. Ей восемьдесят пять. Она всё ещё чистит картошку. Её руки жилистые. Вены взбухли, как верёвки.

Она плохо слышала. Я часто на это злился. Стыдно было, но злость возвращалась. Она спрашивала снова и снова. Я отвечал грубо. Она кивала. Так мы и говорили.

Автобус тряхнуло. Женщина прижала пакеты к себе. Я посмотрел в окно. Вода текла по дороге.

В подъезде пахло аммиаком. Лифт работал, но между пятым и шестым его сильно трясло. Дома Селеста сидела у окна. В чёрной водолазке. На коленях у неё была книга. «Фиеста». Она не читала. Смотрела во двор. Там ничего не происходило. Потрескивал обогреватель.

Я снял куртку. Хотел спросить, ела ли она. Слова застряли. Я кашлянул. Она повернула голову.

— Ты поздно, — сказала она.

Голос был ровным.

Я кивнул. Подошёл и коснулся её плеча. Она вздрогнула. Я убрал руку.

Она закрыла книгу.

— Давай съездим на озеро, — сказала она.

Я сел рядом. Она смотрела прямо на меня. Глаза красные, но без слёз. Я смотрел в пол, не выдерживая её взгляда.

— Да, — сказал я. — Хорошая идея.

В кухне капал кран. В холодильнике было холодно и пусто. Яркая лампочка освещала белоснежное нутро и пустые полки. В раковине стояла грязная тарелка. Я налил воды в стакан. Долго смотрел, как лампа отражается в стекле, а за ним колышется непроглядная тьма. Я чувствовал себя персонажем картины Эдварда Хоппера «Полуночники» — заперт в стеклянной ловушке: кричи не кричи — тишина поглотит любые звуки.

Я лёг на диван и закрыл глаза. Слышал, как капает вода и гудит холодильник. Вспомнил водохранилище. Камни падали в воду. Круги шли по поверхности. Пёс шёл по берегу. Грязно-золотистое мокрое брюхо.

Голос психотерапевта звучал вдалеке: «Сколько вам лет, Ник?»

Тридцать четыре.

Это определённо слишком много.

3

Я открыл глаза. Пробуждение как воскрешение мертвеца, как всплытие с огромной глубины. Сделал судорожный вдох. Обвёл ошалелыми глазами комнату. Было ещё рано. Сумрак в комнате серый и мягкий. Время около шести утра. Чёрт меня дёрнул так рано проснуться. Но спать не хотелось.

Я слышал, как в другой комнате дышит Селеста. От этого становилось тепло и грустно. Услышав движение, пришёл Грэй. Он держал поводок в зубах и поскуливал.

Я накинул чёрный дождевик и вышел в подъезд. Тихо. Мне показалось, что дом уже под водой.

На улице дождь бил по капюшону. Капли падали часто. Лужи пузырились. Я вспомнил слова Кривотнюка про потоп. Великий потоп, который смое всё. Я чувствовал себя гнилым до костей. Брошенный дом. Ржавая колымага, гниющая на пустыре. Никакая вода снаружи не могла это смыть. Или могла? Было бы здорово.

Я задрал голову к небу. Оно было серым и низким. Дождевые капли текли по лицу, затекали в глаза и в рот. Я закрыл глаза и попытался вспомнить строки: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился дождь сорок дней и сорок ночей». Я засмеялся. Смех получился сухим. Грэй посмотрел на меня мутным глазом и фыркнул.

Вода стекала с моего дождевика и собиралась у ног в стыдную лужицу.

— Простите, я вам тут намочил, — сказал я.

— Всё в порядке, Ник, — ответила психотерапевт.

За окном сгущалась тень. Сегодня было особенно пасмурно.

— Вас не пугает этот дождь? — спросил я.

— Меня нет. А вас?

— Кажется, тоже нет, — сказал я.

Я врал. Пожевал губами, примеряясь к новой попытке досказать мысль. Казалось, сегодня у меня получится. Рыбы-смыслы юркали в мутно-серой глубине, периодически подплывали к поверхности и глядели на меня наглыми выпученными глазами. Они меня дразнили.

— Я видел сон, — сказал я. — Вам же нравится говорить о снах.

Она кивнула.

— Я видел себя. Спал на диване, как обычно. Почувствовал, что в комнате кто-то есть. Сначала подумал, что это Селеста. Но понял — нет. В кресле сидел чужой человек. Свет обходил его. Не было видно лица и фигуры. Только очертания. Голос глухой. Он сказал: «Зачем ты меня оболгал?» Я не понял. Он повторил: «Это не я тебя перемалываю. Это ты меня».

Я замолчал. В комнате слышалось дыхание психотерапевта и шуршание моей одежды.

— Потом я вдруг стал мельницей. Как на ваших часах. Река крутила колесо. Лопасты вращались. Я чувствовал, как уходит время. Минута за минутой. И остановить было нельзя.

Я поднял глаза. Она смотрела на меня внимательно.

Дождь за окном усилился. Ударил порыв ветра. Где-то гроыхнуло железо. Возможно, крышу сорвало ветром. Я подумал, что если потоп и правда начался, то можно наконец расслабиться.

Маршрутка резко дёрнулась с места. Кто-то задел меня локтем. Женщина с двумя пакетами раздражённо выругалась. В пакетах звякнули банки, и что-то круглое покатилося по полу. В салоне пахло как в рыболовном траулере, а ещё мокрой резиной и сладковатым одеколоном от мужчины впереди. Стёкла запотели, по ним ползли капли. Дворники шкрябали, оставляя грязные дуги. Водитель держал телефон между ухом и плечом, говорил с кем-то быстро и нараспев, вплетая в речь короткие ругательства.

Я сидел у окна. Город тянулся мимо серыми коробками зданий. Пустые детские площадки, лужи на асфальте, облупленные, изрисованные граффити стены. На остановках, понуро склонив головы, стояли люди в дождевиках, куртках, плащах. По дорогам шёл плотный автомобильный поток. Между людьми в машинах и людьми на улице пролегла непреодолимая пропасть.

Когда я вышел у офиса, дождь усилился. Вода текла по ступеням, словно они были частью канала. На входе — турникет. Стрелка горела зелёным, всегда включённая, как будто одинаково радушная ко всем. В будке охранник. Он ел бутерброд с колбасой, приятно пахнущей чесноком. Крошки падали на стол и липли к папке с какими-то ведомостями. Телевизор бубнил. Там говорили о НЛО. На экране мелькали чёрно-белые фотографии — хроника розуэльского инцидента. Экран мигал, звук был приглушённый, но охранник слушал внимательно. Даже не поднял глаз, когда я вошёл.

В кабинете было холодно. Воздух стоял тяжёлый, с запахом пыли и пластика. Ряд столов с мониторами. Пустые стулья. Выключённые экраны. Я предвкушал длинный спокойный день в полном одиночестве. Всё пространство кабинета принадлежало только мне. Никаких арт-директоров, никаких Гриш — только я и моё время. Я нажал кнопку на своём компьютере. Тихий треск кулера. Экран медленно зажёгся. Голубое свечение осветило стол.

Я пошёл в крошечную кухню. Там стояла старая электрическая плитка и чайник с рыжеватым налётом на тэне и внутренних стенках. Я насыпал в кружку две ложки растворимого кофе. На стене кухни — пожелтевшая табличка «Мойте посуду». Залил кипятком. Пар ударил в лицо, запахло жжёной горечью. Я сделал глоток. Жидкость была горячей и приятно согрела моё порядком замёрзшее нутро.

Вернувшись к столу, я открыл браузер и запустил анимэ. «Ковбой Бибоп». Экран ожил. Музыка. Кадры с героем, который двигался легко, будто вне закона тяготения. Он курил, усмехался, ловил космических негодяев и играл на саксофоне. В его жестах не было привязанности к прошлому. Он шёл вперёд без капли сомнения в душе.

Мне пришло в голову, что его жизнь похожа на джаз. Моя? Если только дождливый джаз. Неуверенное и слабое соло на одной струне.

Я встал и подошёл к окну. С высоты седьмого этажа город выглядел плоским и мокрым. Лужи отражали фонари, даже днём. Машины проезжали, разрезая грязные потоки.

Я вспомнил, как мы с Селестой гуляли в парке. Лето, солнце, смех. Она держала меня за руку. Мы покупали мороженое у ларька и решали, куда пойти дальше. Тогда пахло черёмухой. Всё казалось лёгким. Будущее выглядело прямой и понятной дорогой.

Теперь она сидела дома и молчала. Я тоже молчал. Между нами был воздух, тяжёлый и густой, как дождь за окном.

Я сделал ещё глоток кофе. Он остыл. На языке осталась горечь.

Я подумал о том, почему простые вещи ломаются. Откуда берётся тяжесть. Может, из усталости. Может, из времени. Может, всё просто изнашивается, как обувь, которая долго служила под дождём.

Психотерапевт принимала в собственной квартире. У неё был котёнок, но на время встреч со мной она запирала его в спальне. Я что-то говорил и одновременно прислушивался к звукам в спальне. Как он там? Чем занимается? Не скучно ли ему?

— Вы случайно не знаете, откуда берётся тяжесть? — спросил я терапевта.

— Не знаю. Но мне кажется, нет какого-то одного источника, — искренне ответила она. — Вы чувствуете сейчас тяжесть?

— Когда сижу здесь с вами — нет, — несколько обескуражено ответил я. — А вот когда прихожу домой...

— Может быть, там вы пытаетесь с чем-то бороться?

Слёзы сами полились. Почувствовав воду на лице, я даже огляделся в поисках дыры в потолке. Психотерапевт сочувственно подала мне коробку с бумажными платками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.